

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

7

1998

1998

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издаётся с января 1925 г.

№ 7(879)

Июль, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МАРИНА КУДИМОВА — Поворот ключа в замке, стихи	3
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Веселые похороны. (Москва — Калуга — Лос-Анжелос), роман	8
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — В беспредельном космосе обочины, стихи	74
АНДРЕЙ ВОЛОС — Дом у реки, маленькая повесть	84
ТАТЬЯНА БЕК — Девочка с бантом, стихи	102
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА — Зимний зной, стихи	106
АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Довлатов и окрестности. Главы из книги	109

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ОЛЕГ ЛАРИН — «Югд ва»	137
-----------------------	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ВЕРА И НЕВЕРИЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО. Беседа писателя Вячеслава Репина с епископом Вашингтонским и Сан-Францискским Василием (Родзянко)	150
ИЗАБЕЛЛА Ф. ХЭПГУД — Прогулка по Москве с графом Толстым. Перевод с английского, вступительная статья и примечания Валерия Александрова	164

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«НЕ ВЕРЮ В ПРОСТРАНСТВО, НЕ ВЕРЮ ВО ВРЕМЯ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ НАС». Письма Л. Ю. Бердяевой к Е. К. Герцык. Публикация, вступительная заметка и примечания Т. Н. Жуковской	172
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Иван Шмелёв и его «Солнце мёртвых». Из «Литературной коллекции»	184
---	-----

ОПЫТЫ

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ — В русском жанре	194
------------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

По ходу текста

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Что не дозволено ученому. Просто напоминание	200
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Евгения Воробьева. Марсель и Обломов	211
Владимир Абашев. Между телом и текстом	215
Валерий Липневич. Одинокое пронизанный счастьем	219
Игорь Кузнецов. Под черным знаменем свободы	222
Алексей Смирнов. Оппозиции в истории и языке: конфликтность культуры	224

Юрий Кублановский. — I. Георгий Флоровский. Из прошлого русской мысли. II. Александр Боханов. Николай II	229
Михаил Горелик. — Российская Еврейская Энциклопедия	233
Валентин Оскоцкий. — Исторические сборники «Мемориала». Выпуск первый. Репрессии против поляков и польских граждан	235

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Письма швейцарского путешественника	237
--	-----

НЕКРОЛОГ

ИОЗ АЛЕШКОВСКИЙ — Последний урок	241
----------------------------------	-----

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЧИТАТЕЛИ — О «НОВОМ МИРЕ»	243
---------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	247
Периодика (составитель Андрей Василевский)	249
SUMMARY	256

Редакция журнала «Новый мир» выражает искреннюю признательность радиостанции «ЭХО МОСКВЫ» (УКВ — 73,82 МГц, FM — 91,2 МГц) за постоянное и доброжелательное внимание к новоямирским публикациям. Желаем всем ее сотрудникам творческих успехов и процветания!

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2350 экземпляров журнала «Новый мир».

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ИВАН ШМЕЛЁВ И ЕГО «СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ»

Из «Литературной коллекции»

Иа жизни Ивана Сергеевича Шмелёва, как и многих общественных и культурных деятелей России ещё дореволюционного, а потом и послереволюционного времени, мы можем видеть этот неотвратимый поворот мировоззрения от «освободительной» идеологии 1900-х — 10-х годов — к опоминанию, к умеренности, у кого к поправению, а у кого — как у Шмелёва — углублённый возврат к русским традициям и православию. Вот

«ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» (1911). Шмелёв исправно выдерживает «освободительную» тему (тут и разоблачительные фамилии — Глотанов, Барыгин) — и в течение повести уклоняется не раз к этой теме от ресторанной, такой плотно-яркой у него. (Концом повести вернулся.) А именно мещанско-официантское восприятие, ресторанный обиход — они-то и удались, они-то и центр повести.

В этом истинно мещанском языке, почти без простонародных корней и оборотов с одной стороны и без литературности с другой, — главная удача автора, и не знаю: давал ли такое кто до него? (Пожалуй — сквозинки таких интонаций у Достоевского.)

- Покоритесь на мою к вам любовь;
- желаю тебя помогать;
- вместо утешения я получил ропот;
- в вас во-первых спирт, а во-вторых необразование;
- если хорошенькая и в нарядах, то такое раздражение может сделать;
- человек должен стремиться или на всё без внимания?
- для пользы отечества всякий должен иметь обзаведение;
- возвращаются из тёплого климата и обращаются к жизни напоказ;
- очень, очень грустно по человечеству;
- посторонние интересы, что Кривой повесился;
- почему вы так выражаете про мёртвое тело?
- хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью;
- по моему образованному чувству;
- даже не за полтинник, а из высших соображений;
- если подаю спичку, так по уставу службы, а не сверж комплекта;
- теперь время серьёзное, мне и без политики тошно;
- для обращения внимания.

Но в этом же языке, при незаметном малом сдвиге привычного сочетания слов мы встречаем:

- так необходимо по устройству жизни;
- помогает обороту жизни;

— от них пользуется в разных отношениях, — (нет ли здесь уже корней платоновского синтаксиса? Он ведь не на пустом месте вырос).

А иногда в мещанском этом языке просверкнёт и подлинно народное:

— на разжиг пошло;	— шустротá;
— мне Господь за это причтёт;	— с примостью;
— не на лбу гвозди гнуть;	— срýву (наречие).

И каково общее рассуждение о повадках и обхождении лакея! (гл. XI)

И — плотный быт ресторанный, и названия изощрённых блюд — верен быту, не соврёт. Хватка у него — большого писателя.

Впрочем и тут к освобожденчеству уже не без лёгкой насмешки: «Как много оказалось людей за народ и даже со средствами! Ах, как говорили! Обносишь их блюдами и слушаешь! А как к шампанскому дело, очень сердечно отзывались». Или: «Одна так-то всё про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику как на скрипочке играет».

Задумывается и вглубь: «Так поспешно и бойко стало в жизни, что нет и времени понять как следует». По этой линии Шмелёву ещё много предстоит в будущем.

«РОССТАНИ» (1913). А вот это — уже проступает будущий сложившийся Шмелёв: величественно-медленный ход старика к смерти, без метаний, без терзаний, лишь с тоскою. И всё описано — с готовностью, покорностью и даже *вкусом* к смерти, очень православно. Весь дух повести — приятен. (Хотя она явно перезатянута.)

Эти травяные улицы, по которым почти не ездят. «Куковала кукушка чистым, точно омытым в дожде голосом». Ветхие деревья, похожие на стариков. Вот утренний рёв коров — может быть последние голоса, которые Данила Степаныч слышит. «Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное, и теперь близкое вечному начинало проступать в нём».

Ясные воспоминания его и жены Арины об их ранних годах.

Яркий быт — последних именин.

При смерти — звенящая под потолком оса. Кланяется умирающему Медвежий Враг (урочище) — и умирающий кланяется ему.

Арина вспоминает примету смерти: «Подошла как-то под окошко старуха, просила милостыню, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть то и приходила». Мистика по-народному.

И панихида — в плотном быте. (Старики думают: чей теперь черёд?) И погребальное шествие: «Когда вступили в еловый лесок... казалось, поют как в пустой церкви... А когда пошёл березняк, стало весело... И было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода». Как хорошо.

На том бы — и кончить. Но Шмелёв даёт ещё «шумные поминки, похожие на именины» (тоже, конечно, — необходимая правда русской жизни). И ещё, ещё главы — а не надо бы.

В языке:

— на припóр;	— выпот тела;	— смертная рубаха;
— ворохнjá;	— мурластый;	— тяжёлая ступь.

«Спорила в его бороде зола с угольком» (прелесть).

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» (1918, Алушта). Рассказ — сборный и во многом традиционный, сюжеты такие уже читаны.

Современное вступление — и юмористическое, и лирическое, и интригующее. (Тут и 1905: «парни выкинули из гробов кости», барские.)

История о помещиках — правдива, конечно, но — в «социально-прогрессивном» духе. И в диссонанс с тем — увлечение монастырём, божественностью, иконописью.

из камня. И ничего другого — не надо, другого — и не спросишь с автора: вот такое оно и есть.

Однако некоторые места разговоров, особенно монологи доктора — с прямо-таки откровенным, непреодолимым заимствованием у Достоевского, это — зря, жаль. А такого немало.

Во второй половине строгость ужасного повествования, увы, сбивается, снижается декламацией, хоть и верной по своей разоблачительности. Разведение риторикой — не к выигрышу для вещи. (Хотя — так естественно, что автор озлобился на равнодушных, сытых, благополучных западных союзников. «Вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля». И с какою горечью об интеллигенции!) К концу нарастает и число возвышенных отступлений, это — не украшает, размягчает каменность общего изваяния.

Сам повествователь поразительный идеалист: содержит индюшку с курами безо всякой выгоды, только к ущербу для себя (куры-собеседницы); часто делится последним с голодающими. — «Я больше не хожу по дорогам, не разговариваю ни с кем. Жизнь сгорела... Смотрю в глаза животных»; «немые коровы слёзы». — И отчётливо пробуждение в нём веры.

Всё это — он ненавязчиво даёт и сильно располагает к себе. И заклинание уверенное: «Время придёт — прочтётся».

Но вот странно: по всему повествованию автор живёт и действует в одиночку, один. А несколько раз заветно прорывается: «мы», «наш дом». Так он — с женой? Или так хранится память о его сыне, расстрелянном красными, ни разу им не упоминаемом (тоже загадка!), но будто — душевно сохраняемом рядом?..

Тревожный тон поддерживается и необычными снами, с первой же страницы.

Начатая тоном отречённости от жизни и всего дорогого, повесть и вся прокатывается в пронзительной безысходности: «Календаря — не надо, бессрочнику — всё едино. Хуже, чем Робинзону: не будет точки на горизонте, и не ждать...»

— Ни о чём нельзя думать, не надо думать! Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой.

— Солнце и в мёртвых глазах смеется.

— Теперь в земле лучше, чем на земле.

— Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, — слова людские.

— Теперь на всём лежит печать ух о да. И — не страшно.

— Как после такой помойки — согласишься, что там есть что-то?

— Какой же погост огромный! и сколько солнца!

— Но теперь нет души, и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны-пропиты кресты нательные. Последние слова-ласки втоптаны сапогами в ночную грязь.

— Боятся говорить. И думать скоро будут бояться.

— Останутся только дикие, — сумеют урвать последнее.

— Ужас в том, что о н и т о никакого ужаса не ощущают.

— Было ли Рождество? Не может быть Рождества. Кто может теперь родиться?!

— Говорить не о чем, мы знаем всё.

— Да будет каменное молчание! Вот уж идёт оно.

Приметы того времени:

Всеобщее озлобление голода, жизнь сведена к первобытности. «Рёвы звариной жизни». «Горсть пшеницы стоила дороже человека», «могут и убить, теперь всё можно». «Из человеческих костей наварят клею, из крови настряпают кубиков для бульона». На дороге убивают одиноких прохожих. Вся местность обезлюдела, нет явного движения. Люди затаились, живут — не дышат. Всё прежнее изобилие Крыма — «съедено, выпито, выбито, иссякло». Страх, что

придут и последнее отымут воры, или из Особотдела; «мука рассована по щелям», ночью придут грабить. Татарский двор, 17 раз перекопанный в ночных набегах. Ловят кошек в западни, животных постигает ужас. Дети гложут копыта давно павшей лошади. Разбирают покинутые хозяевами дома, из парусины дачных стульев шьют штаны. Какие-то ходят ночами грабить: рожи намазаны сажей. Обувь из верёвочного половика, прохваченного проволокой, а подошвы из кровельного железа. Гроб берут напрокат: прокатиться до кладбища, потом выпрастывают. В Бахчисарае татарин жену посолил и съел. В листки Евангелия заворачивают камсу. Какие теперь и откуда письма?.. В больницу? со своими харчами и со своими лекарствами. Горький кислый виноградный жмых, тронут грибком бродильным, продают на базаре в виде хлеба. «С голоду ручнеют, теперь это всякий знает».

«А в городишке — витрины побитые, заколоченные. На них линючие кло-чья приказов трещат в ветре: расстрел... расстрел... без суда, на месте, под страхом трибунала!..»

Дом церковный с подвалом пустили под Особотдел.

Как гибли лошади добровольцев, ушедших за море в ноябре 1920.

Один за другим, как на предсмертный показ, проплывают отдельные люди, часто даже друг с другом никак не соотносясь, не пересекаясь, все об-одиночели.

Старая барыня, продающая последние вещи прошлого ради внуков-малолеток. И — няня при ней, которая сперва поверила, что «всё раздадут трудящим» и будут все жить как господа. «Все будем сидеть на пятом этаже и розы нюхать».

Старый доктор: как его грабят все, даже съёмную челюсть украли при обыске, золотая пластинка на ней была. Кого лечил, отравили ему воду в бассейне. Сгорел в самодельной избушке.

Генерал Синявин, известный крымский садовод. Матросы из издёвки срубили его любимое дерево, потом и самого застрелили. И китайских гусей на штыках жарили.

Чудесный образ «культурного почтальона» Дрозда, оставшегося и без дела, и без смысла жизни. Обманутая вера в цивилизацию и «Лойд-Жоржа».

И поразительнейший Иван Михайлович, историк (золотая медаль Академии наук за труд о Ломоносове), попавший с Дроздом в первые большевицкие аресты, там показал своё «вологдство»: чуть не задушил конвоира — вологодца же; а тот, на радостях, отпустил земляка. Теперь Ивану Михайловичу как учёному паёк: фунт хлеба в месяц. Побирается на базаре, глаза гноятся. Ходил с миской кланчить на советскую кухню — и кухарки убили его черпаками. Лежит в чесучёвом форменном сюртуке с генеральскими погонами; сдерут сюртук перед тем, как в яму...

Дядя Андрей с революцией занёсся, приехал из-под Севастополя верхом. А тут у него корову матрос увёл. И сам он лукаво уводит козла у соседки, обрекает её мальцов на гибель, и отнекивается: не он. Та его проклинает — и по проклятью сбывается: коммунисты, уже за другое воровство, отбивают ему все внутренности.

И типы из простонародья:

Фёдор Лягун служит и красным и белым; при красных отнял у профессора корову, при белых вернул. «Кого хочу, могу подвести под мушку... Я так могу на митинге сказать... все трепещут от ужаса».

Безымянный старый казак — всё донашивал свою военную шинель, за неё и расстреляли.

Коряк-драгал, всё надеялся на будущие дворцы. Избивает до смерти соседа, подозревая, что тот зарезал его корову.

Солдат германской войны, тяжкий плен и побег. Чуть не расстрелян белыми. Остался под красными — так и расстрелян, с другими молодыми.

Старый жестянщик Кулеш, лучшего жестянщика не знал Южный Берег. Раньше и в Ливадии работал, и у великого князя Николая Николаевича. Долго честно менял печки на пшеницу, картошку. Таскался из последних сил, шатаясь. «Жалуйся на их, на куманистов! Волку жалуйся, некому теперь больше. Чуть слово какое — подвал! В морду ливанвером». А верил им, простак... И вот — помер с голоду.

Ещё простак — обманутый новой властью рыбак Пашка. «Нет самого главного стажа — не пролил родной крови. Придёт артель рыбачья с моря — девять десятых улова забирают. Коммуна называется. Вы весь город должны кормить». Автор ему: «Поманили вас на грабёж, а вы предали своих братьев».

Оборотистый хохол Максим, без жалости к умирающим, — этот не пропадёт.

И — обречённые, с обострённым вниманием дети. И ребёнок — *смертёныш*.

И — Таня-подвижница: детей ради — рискует ходить через перевал, где изнасилуют или ограбят: менять вино на продукты в степи.

И отдельная история о покинутом, а потом погибшем павлине — таким же ярким, цветным пятном на всём, как и его оперение.

И — праведники: «Не поклонились соблазну, не тронули чужой нитки — бьются в петле».

Надо же увидеть это всё — глазами неподготовленного дореволюционного поколения. Для советских, в последующие вымаривания, — ничто уже не было в новинку.

Наконец — и **красные**.

Шура-Сокол — мелкозубый стервятник на коне, «кровью от него пахнет».

Конопатый матрос Гришка Рагулин — курокрад, словоблуд. Вошёл ночью к работнице, не далась, заколол штыком в сердце, дети нашли её утром со штыком. Бабы пели по ней панихиду — ответил бабам пулемётом. «Ушёл от суда вихлястый Гришка — комиссарить дальше».

Бывший студент Крепс, обокравший доктора.

Полупьяный красноармеец, верхом, «без родины, без причала, с помятой звездой красной — „тырцанальной“».

Ходят отбирают «излишки» — портянки, яйца, кастрюльки, полотенца. Пожгли заборы, загалили сады, доломали.

«Кому могила, а им светел день».

«Тех, что убивать хотят, не испугают и глаза ребёнка».

О массовых расстрелах после ухода Врангеля. Убивали ночью. Днём они спали, а другие, в подвалах, ждали. Целые армии в подвалах ждали. Недавно бились открыто, Родину защищали, Родину и Европу, на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь, замученные, попали в подвалы. «Промести Крым железной метлой».

Спины у них широкие, как плита, шеи — бычачьей толщины; глаза тяжёлые, как свинец, в кровяно-масляной плёнке, сытые. ...Но бывают и другой стати: спины — узкие, рыбы, шеи — хрящевой жгут, глазки востренькие с бурвчиком, руки — цапкие, хлёткой жилки, клещами давят.

И где-то там, близко к Бела Куну и Землячке, — главный чекист Михельсон, «рыжевый, тощий, глаза зелёные, злые, как у змеи».

Семеро «зелёных» спустились с гор, поверив «амнистии». Схвачены, на расстрел.

«Инквизиция, как-никак, судила. А тут — никто не знает, за что». В Ялте убили древнюю старуху за то, что на столике держала портрет покойного мужа-генерала. Или: ты зачем на море после Октября приехал? бежать надумал? Пуля.

«Только в одном Крыму за три месяца расстреляно без суда человеческого мяса восемь тысяч вагонов».

После расстрела делят офицерское, штаны-галифе.

И груди вырезали, и на плечи звёздочки сажали, и затылки из наганов дробили, и стенки в подвалах мозгами мазали.

И различие между большевицкими волнами. Первые большевики, 1918 года: оголтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били пушкой по татарским деревням, покоряли покорный Крым... Жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками. Плясали с гиком вокруг огней, обвешанные пулёмётными лентами и гранатками, спали с девками по кустам... Они громили, убивали под бешеную руку, но не способны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы «нервной силы» и «классовой морали». «Для этого нужны были нервы и принципы людей крови не вологодской».

Про следующую волну красных пришельцев Кулеш: «его не поймёшь, какого он происхождения... порядку нашего не принимает, церковь грабит».

Пошли доглядывать коров: «Коровы — народное достояние!» «Славные рыбаки! Вы с честью держали дисциплину пролетариата. Ударная задача! Помогите нашим героям Донбасса!»

А ещё — и об интеллигенции:

«Плясали и пели для них артистки. Подали себя женщины».

По повесткам «Явка обязательна, под страхом предания суду революционного трибунала» — все и явились (на собрание). «Не являлись, когда их на борьбу звали, но тут явились на порку аккуратно. В глазах хоть и тревожный блуд, и как бы подбострастие, но и сознание гордое — служение свободному искусству». Товарищ Дерябин в бобровой шапке: «Требую!!! Раскройте свои мозги и покажите пролетариату!» И — наганом. «Прямо в гроб положил. Тишина...»

Крым. И во всю эту безысходность вписан, ритмически вторгаясь, точно и резко переданный крымский пейзаж, больше солнечный Крым — в этот ужас смерти и голода, потом и грозный зимний Крым. У кого были такие последовательные картины Крыма? Сперва — сияющим летом:

- Особенная крымская горечь, настоявшаяся в лесных щелях;
- Генуэзская башня чёрной пушкой уставилась косо в небо;
- Пылала синим огнём чаша моря.

И — горы:

- Малютка-гора Костель, крепость над виноградниками, сторожит свои виноградники от стужи, греет ночами жаром... Густое брюхо [ущелье], пахнущее сафьяном и черносливом — и крымским солнцем.

Но:

- Знаю, под Костелью не будет винограда: земля напилалась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья.

- Крепостная стена — отвес, голая Куш-Кая, плакат горный, утром розовый, к ночи синий. Всё вбирает, всё видит, чертит на нём неведомая рука. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи. Время придёт — прочтётся.

Потом:

- Западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демержи зарозовела, замеднела, плавится, потухает. А вот уже и синеть стала. Заходит солнце за Бабуган, горит щетина лесов сосновых. Похмурился Бабуган, ночной, придвинулся.

А вот:

- Сентябрь отходит. И звонко всё — сухо-звонко. Сбитое ветром перекасти-поле звонко треплется по кустам. Днём и ночью зудят цикады... Крепкой душистой горечью потягивает от гор, горным вином осенним — полынным камнем.

- И море стало куда темней. Чаше вспыхивают на нём дельфины всплески, ворочаются зубчатые чёрные колёса.

А вот и зима:

- Зимние дожди с дремуче-чёрного Бабугана.

— Всю ночь дьяволы громыхали крышей, стучали в стены, ломались в мою мазанку, свистали, выли. Чатыр-Даг ударил!.. Последняя позолота слетела с гор — почернели они зимней смертью.

— Третий день рвёт ледяным ветром с Чатыр-Дага, свистит бешено в кипарисах. Тревога в ветре, кругом тревога.

— На Куш-Кае и на Бабугане — снег. Зима раскатывает свои полотна. А здесь, под горами, солнечно, по сквозным садам, по пустым виноградникам, бурозелено по холмам. Днём звенят синицы, тоскливые птицы осени.

— Падает снег — и тает. Падает гуще — и тает, и вьёт, и бьёт... Седые, дымные стали горы, чуть видны на белесом небе. И в этом небе — чёрные точки: орлы летают... Тысячи лет тому — здесь та же была пустыня, и ночь, и снег, и море. И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверьё, прятался по пещерам. Нигде огонька не видно — не было и тогда.

Первобытность — повторилась...

И в сравнение — прежнее кипучее многонациональное крымское население: тогда и — «коровы трубили благодатной сытью».

А вот и новинка:

— Ялта, сменившая янтарное, виноградное своё имя на... какое! издёвкой пьяного палача — «Красноармейск» отныне!

Автор сознаёт свой удел: «Я останусь свидетелем жизни Мёртвых. Полную чашу выпью».

Но «Чаю Воскресения Мёртвых! Великое Воскресенье да будет!» — увя, звучит слишком неуверенным заклинанием.

Из его слов, выражений:

— стúдно (наречие);	— вышегáливать;	— на прикóрме;
— гремь (ж. р.);	— словокрóйщик;	— пострада́ние;
— сверль (ж. р.);	— насулили-намурили;	— мальчушьё;
— с умóлчья;	— время ша́товое;	— облюте́ть.

«Слова — гремучая вода жизни».

«Мещанство — слово, выдуманное безглазыми».

* * *

И вот досталось нескольким крупным русским писателям после раздирающих революционных лет да окунуться в долго-тоскливые и скудные годы эмиграции — на душевную проработку пережитого. У иных, в том числе и у Бунина, она приняла окраску эгоистическую и порой раздражённую (на этаким недостойный народ). А Шмелёву, прошедшему и заразительное поветрие «освобожденчества», потом изстрадавшемуся в большевицком послебрангелевском Крыму, — дано было пройти оживление угнетённой, омертвелой души — катарсис. И дано было ему теперь, споздна, увидеть промытыми глазами ту невозвратимую Россию, которую сыны её столько силились развалить, а косвенно приложился и сам он. И увидеть ту неповторимую, ещё столь самобытную яркую Москву, упорно не опетербурженную (а потом и не враз обольшевиченную). И теперь, под свои 60–65 лет, взяться воссоздать, описать, чего не прилагалась, на что и не смотрела наша перекособоженная тогда литература.

Тут пошли один за другим милые рассказы: «Наполеон», «Москвой», «Мартын и Конча».

— «Пухлые колокола клубятся. Тлеют кресты на них тёмным и дымным золотом».

— «Молись, а Она (Владычица) уже всю душу видит».

И — все запахи Москвы... (переулков, соснового моста).

Так Шмелёв втягивался в

«ЛЕТО ГОСПОДНЕ» (1927 — 1944) — 17 лет писал.

И ведь ничего не придумывает: открывшимся зрением — видит, помнит, и до каких подробностей! Как сочно, как тепло написано, и Россия встаёт —

живая! Правда, несколько перебрано умиления — но поскольку ведётся из уст ребёнка, то вполне соразмерно. Некоторые упрекают Шмелёва в идеализации тогдашнего быта, но ведь в детском восприятии многие тени и не бывают видны. А цельное изображение — уверенно добротное.

Вначале повествование малоподвижно, ход его — только от годового круга христианских праздников. Но потом включается сердечный сюжет: болезнь и смерть отца. В книге три части: Праздники (этот годовой круг) — Радости (тут дополняется пропущенное по первому кругу) — и Скорби.

И как верно начат годовой круг: Дух Поста («душу готовить надо»), постный благовест, обычаи Чистого Понедельника. Как «масляницу выкуривают» (воскурение уксуса по дому). Говение. — Образы подвижников (прабабушка Устинья). — После причастия: «Теперь и помирать не страшно, будто святые стали». — Крестят корову свечой, донесенной от Двенадцати Евангелий. На Великую Пятницу кресты на дверях ставят свечкой. — Пунцовые лампадки на Пасху. Куличи на пуховых подушках. Красные яички катают по зелёной траве. Радуница: «духовно потрапезуем с усопшими», покрошим птичкам — «и они помянут за упокой». — Описание разных церковных служб и примыкающих обрядов. Процессия с Иверской Богородицей. Крестный ход из Кремля в Донской монастырь («само небо движется»). — «На Троицу вся земля именинница» (и копнуть её — нельзя). На Троицу венки пускают на воду. — Яблочный Спас, ярмарка. — Мочка яблок к Покрову и засолка огурцов (с массой забытых теперь подробностей, молитва над огурцами). — Заговоренный стол перед Филипповками («без молочной лапши не заговень»), закрещивают все углы: «выдувают нечистого!». Дом в рождественский вечер без ламп, одни лампадки и печи трещат. Ёлку из холодных сеней вносят только после всенощной. Голубая рождественская скатерть и ковёр голубой. — Купанье в крещенской проруби. Святочные обычаи. После святок грешно надевать маски: «прирастут к лицу».

И все-все эти подробности, весь неторопливый поток образов — соединяются единым тёплым, задушевым, праведным тоном, так естественно давшимися потому, что это всё лётся через глаза и душу мальчика, доверчиво отдающегося в тёплую руку Господню. Тон — для русской литературы XX века уникальный: он соединяет опустошённую русскую душу этого века — с нашим тысячелетним духовным устоянием.

А своим кругом — сочно плывут картины старой Москвы. Все оттенки московской весны от первого таянья до сухости. Ледоколье — заготовка льда на всё лето. Дружная работа артели плотников. («Помолемшись-то и робятam повеселей».) «На сапогах по солнцу» (так наблещены). — Пастуший рожок с Егорьева дня. Примета: лошадки ночью ложились — на тепло пойдёт. — Птичий рынок. Детали замоскворецкого быта, мебели, убранства. — Зимние обычи к Рождеству из Подмосковья, торговли из саней. «Товар по цене, цена по слову». Святочные обеды «для разных» (кто нуждается). — Раскатцы на дороге зимней, «саночки-шегольки». На масленицу «широкие столы» — для рабочих. «Наш народ пуше всего обхождение ценит, ласку». — Изобилие Постного рынка (уже не представимое нам), разнообразие постного стола. «Великая кулебяка» на Благовещение. Сбитень с мёдом и инбирём, лучше чая. Русские блюда, давно теперь забытые, тьма-тьмушая закусок и сладостей, все виды их.

А в последней части, «Скорби»: ушиб и болезнь отца. «После тяжкой болезни всегда, будто, новый глаз, во всё творение проникает». Хорошая баня, для лечения, с мастерами парки: «Болесь в подполье, а вам на здоровье. Вода скатится, болесь свалится». Благословение детей перед смертью. Соборование. — «Когда кто помирает, печей не топят»; «первые три дня душа очень скорбит от разлуки с телом и скитается как бесприютная птица». На ногах у покойника — «босовики» с нехоженными подошвами. Гроб несут на холстинных полотенцах. Поминальный звон. Поминовенный обед.

Чудная книга, очищает душу. Богатое многоцветье русской жизни и православного мировосприятия — в последние десятилетия ещё неугнетённого

состояния того и другого. И — то самонастоящее (слово автора), что и было Москвой, — чего уже нет, мы не видели и никогда не увидим.

Немало слов Шмелёва я включил в свой Словарь. Вот ещё несколько:

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| — на подв́ар; | — примáн (м. р.); | — топла́я лужа; |
| — прижа́рки (мн. ч.); | — ра́дование; | — чво́кать зубом; |
| — на собла́з; | — не завиствуй; | — увóзливый; |
| — поглубе́ть; | — залюбова́нье; | — подга́нивают; |
| — насто́йный; | — в предше́вшем году; | |
| — не обзелени́сь (об траву); | | |
| | — духотрясе́ние; | |
| | — нищелюбиви́ый; | |
| | — дрязгуны́; | |
| | — ону́кивать лошадь; | |
| | — бы́рко (о течении воды). | |

